

кругом 500



В Зарайск, через Даровое и Чулки-Соколово

ИГОРЬ ВОЕВОДИН
фото автора

Москвичи – люди нелюбопытные. Дом – работа. Работа – пивная – налево. Налево – направо – дом. Кому-то чудится, что это и есть рай. Кому-то мнится, что huis – только ад. Это когда «работа – дом» без вариантов.

В Зарайске такими высокими материалиями себя не загружают. Тихо здесь, и все дороги ведут в кремль. Хоть налево, хоть направо, хоть вперёд и хоть назад, а попадёшь прямо сюда.

Тихо и в местном кремле. Только два уборщика метут терригрино, да маётся меж крестов в неуютной вышине замётный ветерок – некому, некому взмыкнуть непокорных кудри или дёрнуть за подол. Только я с фотокамерой да два каких-то ласковых друг к другу заезжих полуинтина всё фотографируются на фоне зубчатки.

Не здесь ли снимали незабвенную ленту «Иван Васильевич меняет профессию»? Так и кажется, что выскочит стрельбы, смокнут, как не бывали, дынки, и заголосит полтва: мол, царь-то ненастоящий!

О, я, я, Кемска волость, Кемска волость! Говорят, когда Грозднов спрашивали, куда мятежных бояр девять, он отвечал: «А к едрен матери!» Долго думали дынки, где же это. Похоже, оно у нас повсюду. Пока не додумались – в Кеми! «Кемь», мол, так и расшифровывается – «к едрен матери!» А мягкий знак – для особой глумливости. Как лыко в строку, как иквица прописанная, как кузькина матя, как...

Чего только не услышишь в пробке! А мы стоим уже почти час. Единственный въезд в Луховицы, и он же поворот на Зарайск, перекрыт в самом узком месте, на 130-м километре. Здесь, как в горловине бутылки, узко и тесно. И здесь же – железнодорожный переезд. И его же, курочку шпальи с помощью лома и какой-то матери, чинят четыре мужика. Хвост туда – на час. Обратно – на два. Мат и благие пожелания тем, кто это устроил, из нескончаемых верениц автомобилей. Милицейская машина – как бы чего не вышло. Плакатик – мол, будем чинить всю рабочую неделю, с восьми утра и до пяти.

БСЮ НЕДЕЛЮ! Ведь это же – математика богов! Километры, помноженные на часы и возведённые в высокую степень людских страданий! А другого пути нет. Ни сюда, ни отсюда.

– Да я и сам сорок пять минут сегодня здесь в пробке торчал по пути на работу, –

стыдливо признался мне милицейский майор. – Наш телефонограмма пришла, чтобы порядок обеспечить, мы пост и выставили.

– Кто же её приспал, телефонограмму? Враги? Интроверты? Или русская женщина, комсомолка?

– Её приспал А.П. Донцов. Начальник Голутвинской дистанции пути.

– А почему же нельзя по ночам ремонтировать?

Майор тяжко задумался. Потом лицо его начало светлеть и разглагливаться.

– А вот бы почаще приезжали! Я вашего брата хорошо знаю! Вот, помни, мы с Николаем Карловичем, с господином то есть Сванидзе, в две тыщи каком-то...

Дослушать мне не удалось. В бесцветной любви и горючей тоске завалины клаксоны, как ранены звери. Рёв был такой, что услышать должны были и в Кеми. Но вряд ли услышали в Голутвинской дистанции пути.

А знаете, почему? Не потому, что, к примеру, тов. Донцов А.П. просто не хочет платить своим людям сверхурочные за ночнойную работу. А потому, что дистанции огромного размера. А злы языки – дороже пистолета. Тыфу, страшнее.

Но бесцельно разводят руками майор, но также хмурится девица с лысого, где ниши нет, места, но также лыбится опричник и скалился бродяга. И безбрежная

– Слыши, Вася, тебя фотографируют! – склонился медвежий улыбкой охранник на автостанции возле кремля. – Щас тебя раз – и пропечатают! Мол, их разыскивает милиция!

Запойного вида Вася не испугался и помахал мне рукой.

– Девушка, ульянигесь! – попросил я под стенами цитадели.

– Да я не местная.

– Откуда же?

– С сорок лет.

– Чего?

– Ну, с «Сорок лет Октября». Не слыхал, что ли?

– Не-а. И чё там у вас?

– А ничё. Нету у нас ни шиши.

Иногда я чувствую себя инопланетянином. Проезжая по России и любясь окрестностями из окна, у меня слетела шапка. С редакционным удостоверением в кармане и мантрой на сердце «Я по казенной на добности!» стучу я кулаком на имицики и требую продолжения банкета. Я государев человек, вынь да положь!

Но бесцельно разводят руками майор, но также хмурится девица с лысого, где ниши нет, места, но также лыбится опричник и скалился бродяга. И безбрежная

васильковая дремота сменяется в глазах моего народа плисовой радостью, когда предложишь встречному:

– А что, дядя? Не выпить ли нам вина?

– Ну, угости! – сразу же согласится он.

– А яду меня в милицию заберут? – не по правилам ответили мне двое пацанов. Я попросил их качнуть рычаг колонки у памятника бывших эпок – у водонапорной башни.

Башня воду не качает. Она служит смотровой площадкой.

Вход на площадку забит. Нечего тут смотреть.

Вода потекла. Ребята довольно засмеялись.

Я напился воды, раз уж не поднесли мне водки – мол, клюнница приболемши. Я щелкнул затвором фотокамеры, раз позабыл дома гармошку. Я пригорюлся и затуманился, я поблёк и поник. Но ширине мне душу и раздвигала горизонты бесмыслицы, но жалостливая песня:

Садели два медведя

На ветке золотой.

Одни сидел как следоват,

Другой качал ногой.

Не понять тебя, горючая моя Родина, иноземцу. Не обятья тебя никому. И не измерить ни циркулем, ни аршином. Там, на Западе, куда смотрят один орёл, тишина и порядок. Там, на Востоке, куда смотрят второй, – вековая покорность и полупоклоны, и вежливость, и почтение. Но только повернись спиной – и кранты. Оплюют спину на Западе, воткнут в неё нож на Востоке.

А здесь? А что же здесь?

А здесь пригрело солнышко. И веселее стало, и спокойней, авось, стерпится – слободится. И по-прежнему разные величины показывали дорожные столбы – то сто вёрст до Москвы, то сто пятнадцать.

И как тут не выпить?!

Упали два медведя,

Да с ветки золотой...

Одни упали как следоват,

Другой – вниз головой...

Я вошёл в село Чулки-Соколово в два часа пополудни со стороны деревни Мендюкино. Светило солнышко, и в травах, истощно крича, путалась всякая мелкая птичья сволочь. Сто двадцать метров над уровнем моря. 54 градуса 43 минуты 60 секунд северной широты. 38 градусов 49 минут 60 секунд восточной долготы. Никого.

Только спустился стервятник и сузил криви, только на секунду отвлеклись от кучи навоза на дороге воробы.



Тишина.
Но вот показалась женщина.
— А что же это у вас название-то такое?
— Да уж такое.
— Чулки, что ли, делают?
— Уж что делают, то и делают.
— Соколов, что ли, какой-то был?
— Да уж кто был, того уж нету.
Помолчали.
— Ну, я что ль, пошла? — спросила женщина.

— Иди. Погоди! А что же это у вас в окруже крыши реклами-то кроют?

Ближний сарай и ферма поодаль светили в небо яркими буквами билбордов. Шиты призывают управлять мечтой и уверяли, что думают о нас.

— А, это... Это один у нас. Фермер то иссы... Ну, навезли ему откуда рекламы этой. Он ей ферму-то покрыл.

— А на ферме кто?
Женщина оживилась.
— И-ин, милай! Не поверши! Верблуд!
Помолчали опять.
— Что ж, кормит он верблода-то ай нет?
Женщина обиделась.
— Знамо дело, кормит, раз тот ноги таскает. С Зарайска приезжают по праздникам на ём кататься.

Она смерила меня взглядом.
— Ай, да и ты покатайся.
Я отказался. И забыл, забыл спросить её, как фермера-то фамилия? Не Соколов?

Усадьбу Достоевских Даровъ здесь знают все. Даже женщины могут показать дорогу из города. Но, попутав право-лево, не без того. Но, в общем, направление задали верное.

Две пожилые женщины сидели в полусаднике. Кур не было. Была кошка.

— Достоевский-то? Ладно, пойдём, покажу тебе. Хоть сегодня и выходной. — Одна из них поднялась.

Ани Ивановна работает в усадьбе смотрителем.

— Была, была одна женщина, да померла. Мрут старухи. Так вот её прабабка у Достоевских убиралась.

— Что о барах говорила? Добрые были, злы?

— Сейчас, погоди. Значит, так. Пожарт был, вскоре как они Даровъ купили. Сейчас, сейчас... В тыща восемьсот тридцать четвёртому. Во. Жужин один, Архин, поросёнка зарезал да палил возле риги. А сухостой был — мама родная! Короче, вся деревня скорела, да и сам погиб.

— А я не слыхала, — удивилась вторая.

— Ну, слушай, значит. А барыня-то по пятьдесят рублей всем погорельцам дала на обзаведение. Вот и считай, добрые бары ли бары или злы.

В те годы офицер получал в месяц рубль сорок. Да, деньги большие.

— А отец-то Фёдор Михалыча, как барыня померла молодой, запил, закручинился. Затосковал. Листовать начал. Ну, мужики его, как он с Черемошник-то шёл и убили до смерти. Так-то, милай... А ты кто есть будешь-то? Турист, что ли?

— Ну да... Вроде.

— Дом-то ихний сто раз перестраивали. Он больше был, тут — людская, тут — веранда. Не как сейчас — терраска. Липы, липы вековые были. В прошлом году сгорели. Тут — сочная. Ещё господ помнила. В прошлом году спилили.

Црело вишенье и дурманом манила чесноку. Обсыпало белым сады, мыла ноги роса. Пондень, а здесь не проходо.

— Библиотека у них шикарная была. Мебель, картины. Эх, всё в сельсовет, говорят, свезли, а там почти всё и пропало.

— При белых? При красных?

— Да хоть при зелёных! Наш человек чужого-то не упустит.

— Постой! — крикнула она вдогонку. — Ты ж ещё курганы не видел.

— Что за курганы?

— А прям у дома, на усадьбе, вишь, холмы?

— Ну, вижу.

— Говорят, захоронения древние. Пряям под домом, считай.

— Что ж, дом, считай, на кладбище стоит?

— Считай, так. А там уж думай сам.

Неподалёку памятник самому пронизительно из русских писателей. На памятнике надпись: «Пророку — Отечество». Со всего отечества нашёлся лишь один чело-

век, что дал деньги на монумент. Памятник воздвигнут на пожертвования.

— А что, есть в деревне, кто Достоевского-то читал? — спросил я напоследок.

Ани Ивановна долго молчала.

Я повернулся и пошёл.

— Может, и есть, — услыхал я чуть погодя.

Чем ты дышишь, Зарайск? Что у тебя на уме? Что у тебя за душой?

— Про егеря-то? Про егеря-то слыхали? — все, кого не спросишь, осторожничакт.

Егеря местному недавно дали три года условно. Вроде как за превышение. Московские газеты пишут — мол, браконьеров из начальства изловили, так вот его и посадили, чтоб другим неповадно было. Не по думайте, что браконьерствовали.

Местные медлят. Кто ж чужаку сразу всё и выложит? Дураков-то нет. Нынче все умные, да. И лишь потом, с обиженками да недомолвками, говорят, что, мож, оно и не всё так просто. И не всегда, мол, чиновники у нас нелюди. Мол, и сам, багут, егеря-то нос задирал, ставил себя выше других.

— Слыхал, что маленький начальник — самый страшный начальник? — говорит мне. — Ну, вот то-то.

Слыхал. Но мнения единого у горожан о той истории нет. А начальство здесь традиционно не любят. Даже сами начальники.

Россия, брат!

Начальники хотят быть как все. Чтоб мольва была добром. Но на всех не угодишь.

Все хотят жить, как начальники. Но при этом палац о палац не ударить.

Вся Россия не любит москвичей. И хочет переехать в Москву.

Налипай!

Вы хреноху, пardon, мадам, пробовали? Нет?! В самом деле, не шутите? А зачем тогда живёте?

Она и сладкая, и горькая. Она и чистая, и грешная. Она и добрая, она и лютая.

Моя Россия.

— Что ж, я тебе и не по цифрам скажу — жить стало чуток подлегче, — мы сидим в районном ЗАГСе. Женщина пишет мне на бумажке цифры. Ту самую, что из небесной бухгалтерии — сколько умерло, сколько родилось. Сколько женщинлось. В прошлом году было 294 счастливца. В 1990-м — 277. В прошлом году родилось 430 младенцев. Двадцать лет назад — 594. Умерли здесь, в городе и окрестностях, 733 человека год назад. В 1990-м упали 645.

— То есть убыль налицо.

— Конечно. Но ты поверь, оправляется народ от потрясений. То ли пообыбывались, то ли всё же государство с материнским капиталом подмогло — а это не шутки, много стимуля эти деньги. Пять лет назад бабы вообще почти не рожали, а теперь — с охотой.

Чёрненькие циферки ложатся на бумажку. За каждой — и жизнь, и слезы, и любовь. Вся Россия на кончике пера. И безмолвные женщины по обочинам несут и несут хлеб нескончаемым колоннам. Кого гонят, пленяют? Или это мы бредём за шагом шаг, позади — пустота, впереди — неизвестность?

Пленных кормят, жалеют, отненавидев, только в России. Здесь Христа ради не пропадёт. Пока сердца не жесточинились вовек, можно даже и не просить — сами подадут.

Хоть в Башкирии.

Хоть в Татарии.

Не говоря уж об Украине...

А сердца, говорит мне женщина в ЗАГСе, стали мячики. В ЗАГСах они знают. Им тайны доверены.

— И знаешь, ёшь по чему видать? — спрашивается она меня напоследок.

— По чём?

— Меньше стало погибать неизвестных. Вернее, года два уже вообще как не стало.

— Бродят?

— И бродят. Это для нас показатель. Тико в Зарайске. То пригрет, то остынет.

И ничего не происходит — вовек. Такого, в смысле, экстраординарного. Воселенского масштаба.

Это у них там, на Западе, прыщ вскочил — ак, батюшки светы! Врач! Хирург! Психотерапевт!

У нас — лепота.

Лишь кони всё скакут и скакут.

Да избы горят и горят...

